

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

*Е.Е. ДУТЧАК,
В.В. КАШПУР*

“Русский сибиряк”, или Парадоксы региональной идентификации

В статье в историческом и социологическом плане анализируются формы и противоречия русской колонизации Сибири, а также связанные с этим проблемы самоидентификации населения региона. Показаны возможные истоки развития сибирского сепаратизма, в частности противоречивое отношение сибиряков к России и “европейским” русским. Анализируются основы региональной самоидентификации населения Сибири, позволяющие ей доминировать над государственной и поселенческой, такие как “сибирский миф”, географический эгоцентризм, локальные ценности.

Ключевые слова: Сибирь, идентификация, бинарная модель, “сибирский миф”, географический эгоцентризм, локальные ценности.

In article the problems of self-identification of the population of Siberia are analyzed in the historical and sociological plan as consequences of contradictions of Russian colonization of the region. Possible sources for development of the Siberian separatism, in particular the inconsistent relation of Siberians to Russia and the European Russian are shown. Bases of regional self-identification of the population of Siberia, allowing it to dominate over national and local identification, such as “the Siberian myth”, a geographical egocentrism, local values are analyzed.

Keywords: Siberia, identification, binary model, “Siberian myth”, geographical egocentrism, local values.

Проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. обнаружило на территории Сибири настроения, вызвавшие озабоченность властных структур и экспертов. Включение в перечень ответов о “национальной принадлежности” варианта “сибиряк” и призыв Интернет-акции “Мы – сибиряки” воспользоваться правом самоопределения показали, как много для ее жителей значит собственная номинация [Эксперт-Сибирь... 2011, с. 11–17].

Казалось бы, всплеск автономистских движений легко объясним сегодняшним состоянием дел: Сибирь богата природными ресурсами, имеет потенциал развития промышленного и наукоемкого производства и при этом едва покрывает собствен-

Дутчак Елена Ерофеевна – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Томского государственного университета.

Кашпур Виталий Викторович – кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социологии Томского государственного университета.

ные бюджетные расходы. Однако широкий диапазон высказываний – от обвинений в развале страны до провозглашения лозунга об отделении зауральских территорий – свидетельствует не только о просчетах в региональной политике. Разница в оценках возможного официального самоназвания с очевидностью показывает противоречивое отношение сибиряка к России. В его интерпретациях Россия либо сужается до размеров федерального центра – “владельца колоний”, либо теряет географические очертания и становится воплощением культурной прародины, духовное родство с которой не зависит от политической конъюнктуры.

Двойственность восприятия ставит вопрос о сибирском сепаратизме, природу которого необходимо рассматривать в контексте двух пересекающихся процессов – административно-правового вхождения региона в состав Российской империи и ментального освоения пришлыми этносами нового пространства, выраженного, в том числе, явлением “русского сибирячества”. Факторам, способствующим оформлению и сохранению на протяжении столетий той части сибирской идентичности, которая конструируется в противопоставлении или, напротив, единении с Россией, и посвящена настоящая статья.

Имперский проект в Азиатской России и народная колонизация окраин

Известно, что фобия сибирского сепаратизма в столицах Российской империи появилась раньше, чем подобные взгляды сложились в самом регионе. Так, еще в 1820-е гг. Ф. Булгарин упоминал о масонском проекте устройства в Сибири республики и последующего преобразования по этому образцу всей России [Сибирь... 2007, с. 32]. Аналогичные страхи и слухи могут считаться обычными для государств с *внутренней моделью* колонизации, поскольку их устойчивость определяется как раз прочностью связей между исторически сложившимся территориальным ядром и новоприсоединенными землями. Вместе с тем нельзя забывать, что хотя Сибирь и входила в состав России медленно и долго и уже в последней трети XIX–начале XX в. настаивала на своей особости, тем не менее даже в 1990-е гг. не включилась в “парад суверенитетов”. Причины кроются в самом характере имперского проекта присоединения Зауралья.

Конечно, об имперском “проекте” следует говорить с большой долей условности. Отсутствие у самодержавия “средств для создания дорогостоящего механизма эксплуатации сибирских природных ресурсов” [Сибирь... 2007, с. 36] приводило к тому, что вплоть до конца XVIII в. власть ограничивалась тут устройством военно-фискальных пунктов и, говоря современным языком, “особой экономической зоны” в виде Колывано-Воскресенских и Нерчинских заводов – собственности правящей фамилии [Сибирь... 2007, с. 32; Жеравина, 2005]. Монархия и образованное общество вполне довольствовались осознанием ширящихся границ европейского мира, статистикой приведения в подданство и крещения автохтонных народов. Соответственно, задача организации хозяйственной жизни в регионе была поставлена достаточно поздно и реализовывалась насильственными методами (сенатский указ 1799 г. “О населении Сибирского края, прилежащего к границам китайским, отставными солдатами, преступниками, подлежащими к ссылке и отдаваемыми от помещиков крепостными людьми с зачетом в рекруты, и о выгодах для сих поселенцев” [Полное... 1830, т. 25, № 19157]).

Только в XIX в. начинается относительно планомерная разработка программ освоения края. Однако их воплощение тоже оказалось затруднительным. Дворянство не видело себя колонизатором окраин, но при этом и не хотело лишиться рабочих рук. Власти, опасаясь дестабилизировать экономику европейской части страны массовыми переселениями, ужесточали требования к желающим уехать¹. Поэтому предпринимаемые попытки запустить механизм саморазвития Сибири не принесли видимых

¹ Так, на протяжении первой половины XIX в. сохранялись ограничения для следующих категорий государственных крестьян: мануфактуристов и ремесленников, ссмой с детьми призывного возраста.

результатов, зато явственно обозначили еще одну проблему – растущую нелегальную миграцию за Урал. Она, наряду с крестьянской, казачьей и штрафной миграциями, регламентируемыми государством, становилась самостоятельным фактором колонизации Азиатской России, причем ее труднодоступных и сложных в хозяйственном отношении областей.

Первые опыты систематизации данных о сибирских мигрантах-нелегалах были предприняты в дореволюционной историографии. В советский период они обрели вид законченной классификации, описывающей три типа беглецов: 1) деревенский работник-батрак, приживавшийся на новом месте благодаря потребности местного крестьянского хозяйства в дополнительных рабочих руках; 2) беглец-колонист – уходивший на необжитые земли, но сохранявший связи со своей деревней по причинам экономическим, социальным или религиозным; 3) беглец-разбойник – тип, трансформировавшийся из нищего или поденного работника в профессионального преступника [Мамсик, 1987, с. 7–13, 71–114]. Эта классификация отражает несоответствие общероссийского правового корпуса XVIII–первой половины XIX в. социально-экономическим потребностям зауральских территорий, для которых постоянная мобильность населения была формой хозяйствования. Незаинтересованность сибирских властей и населения в оттоке нелегалов обратно в Европейскую Россию вела к тому, что нарушения законодательства о беглых и “пристанодержателях” с течением времени приобретали перманентный характер.

Постепенно в ходе разных миграционных потоков росло число сибиряков – русских по этнической принадлежности и православных по вероисповеданию, но уже разорвавших связь с “малой” родиной. Массовый приток именно таких колонизаторов приходится на вторую половину XIX–начало XX в., когда было отменено крепостное право, стабилизировалась русско-китайская граница и построена Транссибирская железнодорожная магистраль. По данным Всероссийской переписи 1897 г., в Сибири проживало около 4,3 млн русских, что составляло 72,6% от общего числа населения края [Славянский... 2009, с. 67].

Вряд ли это было случайностью. Неготовность центральной власти к финансовым вливаниям в сибирскую инфраструктуру заставляла видеть в вольной народной колонизации силу, способную распространять имперские и христианские ценности за Уралом. Показательно, что правительственная публицистика последней трети XIX в. усиленно развивала тезисы о “русской сохе и бороне”, следующих за “русскими знаменами”, о “непрочности и обременительности завоеваний, не опирающихся на надежный этнографический материал” [Уманец, 1884, с. 33]. И все же необходимо понимать, что действительное присоединение Сибири было обеспечено не одним лишь притоком крестьян европейской части страны. Не менее важным оказалось другое – представители русского этноса заняли ключевые позиции в администрации, военной сфере и церковных структурах края и составили костяк населения сибирских городов.

Видимо, именно русификацию следует считать главным результатом имперского проекта самодержавной России, вполне успешно продолженную в XX в. в ходе строительства “Сибири социалистической”. Советизация также проводилась на русском языке, что, во-первых, оставило за славянскими этносами сферы управления и идеологии; во-вторых, окончательно отождествило хозяйственные успехи края с его включением в зону влияния европейских культурных ценностей. Тем самым имперские представления об исторической обусловленности присоединения “дикой” Сибири и “просветительской миссии” России (сначала самодержавной, потом советской) получали добротную экономическую и политико-социальную основу.

Прочие же составные части имперского проекта колонизации, прежде всего создание условий для развития края, оказались нереализованными. Политическая традиция решения проблем за счет перемещений населения в данном случае дала сбой: легализация крестьянского движения на восток автоматически не избавила Центр от аграрного перенаселения и не создала за Уралом “свою Канаду”. Причинами стали, во-первых, скромные размеры сибирского земледельческого фонда, уже к концу XIX в.

освоенного старожилами [Чуркин, 2006; Дорофеев, 2009]; во-вторых, качественные характеристики новоселов: вынужденные уехать из родных мест в силу низких адаптивных способностей, они вряд ли годились на роль колонизаторов таежных урманов (еловых, пихтовых и кедровых лесов) и безводных степей. Сибири же требовались люди с определенными физическими качествами, “стартовым капиталом” (тягловым скотом, инвентарем, семенами) и высокой мобильностью, готовые совмещать занятие земледелием с промыслами и заимствовать хозяйственные технологии автохтонных народов.

Разочарование мигрантов, которым вопреки ожиданиям никто “не построил изб и не заготовил квас”, привело к стабильно большому проценту обратных миграций (от 12 до 23% в зависимости от мест выхода переселенцев) [Сибирское... 2009, с. 72]. Правительство, став заложником собственной слабой информированности о возможностях региона и мигрантов, было вынуждено отказаться от долгосрочных аграрных проектов и сделать ставку на разработку природных недр, дающую быстрый экономический эффект. Этим определяется переориентация в XX в. на использование труда военнопленных и репрессированных. *Штрафная колонизация* – нерентабельная в земледельческом производстве – оказывалась идеальной для рудника и лесоповала и, кроме прочего, вновь увеличивала численность русских, волей или неволей становящихся сибиряками.

Таким образом, историю русского присутствия в Сибири можно представить как переход от естественным образом возникающих с конца XVI в. “зон контактов” русских с отдельными автохтонными народами к стабильному культурно-хозяйственному их взаимодействию с многочисленными пришлыми и местными этносами [Шиловский, 2003]. Итогом стало складывание регионального сообщества с доминирующей “славянской компонентой”². Вместе с тем сложные процессы генезиса сибирского социума объективно приводили к разнице в восприятии переселенцами зауральских территорий, что требует установления роли, которую в формировании “русского сибирячества” играло отношение к месту проживания.

Образы Сибири: позитивный и негативный аспекты “сибирского мифа”

Региональная идентичность может быть понята как осознание жителями одной территории своего группового единства – обязательно эмоционально окрашенное и сформированное под воздействием природного ландшафта, особенностей системы жизнеобеспечения и позиций, занимаемых регионом в стране и мире. Такой угол зрения ставит вопрос о когнитивных операциях, с помощью которых позитивные или негативные *образы территорий* приобретают свойство консолидировать социум и упорядочивать его картину мира [Замятин, 2010, с. 133–134]. Решающая роль, на наш взгляд, здесь принадлежит процедуре символизации, позволяющей осмысливать пространственную реальность с позиций определенной этноконфессиональной и/или социокультурной традиции. В результате появляется *миф* как некое нарративное знание, в рамках которого идеологические и географические характеристики места становятся самостоятельным инструментом идентификации.

Есть смысл выделить, как минимум, три типа культурных символов, восходящих к истории освоения территории или ее современному состоянию, и, соответственно, говорить о трех типах социальных мифов, на которые опираются региональные идентичности: 1) символика “начала” и историко-генетический миф: самоотождествление базируется на представлениях о давности освоения территории и ее культуртрегерских функциях по отношению к другим областям страны (примером служит идентичность жителей Новгородской области); 2) символика “границы” и миф фронта:

² В начале XXI в. доля русских, украинцев и белорусов в состав сибирского населения составляла, соответственно, 86% – 1,98% – 0,47% (см. [Славянский... 2009, с. 80–81]).

доминантой выступает убежденность в высоких адаптивных качествах личностей и коллективов, живущих в условиях чужеродной среды – этнической, конфессиональной, природной (идентичность жителей Ростовской области, Дальневосточного края); 3) символика “особости места” и геополитический миф: его знаковой чертой является уверенность в “способности” территории моделировать непространственные – политические, семантические, ценностные, коммуникативные отношения (идентичность жителей столичных городов – Москвы и Петербурга, Калининградской области)³.

Естественно, речь идет лишь о векторе идентификации. Свойство социальной мифологии чутко реагировать на общественные изменения выражается прежде всего в наращивании базовой культурной символики. Примером служат процессы конструирования сибирской идентичности с XVII в. – начала оседания европейцев за Уралом – и до сего дня. Полагаем, их ход определяется соотношением в некоторый момент времени двух символов – “граница/пограничье” и “особость места”.

Так, в середине XIX в., когда русский этнос как лидер переселенческого потока смог полностью приспособиться к местным природно-климатическим условиям и создать комплексную экономику [Шелегина, 2005], символика фронта была перенесена на отношения “человек–природа”, а социальные взаимодействия все чаще формировались посредством так называемых *утопий места*. Поэтому при всей противоположности образов Сибири, с одной стороны, как очага европейской культуры в Азии, а с другой – места, не комфортного для европейца, их функции оказываются схожими: оба они, воплощая собой геополитический миф, выполняют задачу идентификации.

Это наблюдение позволяет считать свойством региональной идентичности ее “умение” создавать реальные социальные сети, апеллируя к устойчиво-позитивным или негативным образам территорий, и выделять два типа “сибирского мифа” с разной смысловой и эмоциональной нагрузкой взаимосвязи “регион↔метрополия”:

Сибирь – стратегический (в том числе, человеческий) потенциал России, будущая “ось” мировой истории, территория “чистая” – со всем возможным спектром политических, конфессиональных, экономических значений этого слова;

Сибирь – территория бюрократического произвола и крайне низкого уровня жизни; она не имеет шансов органично включиться в мировые процессы и всегда будет рассматриваться Центром как колония.

Это различие важно и ставит вопрос, во-первых, о конструктивных элементах “русского сибирячества” – бинарной по характеру идентификационной модели; во-вторых, о социальных силах – “создателях” и “потребителях” диаметрально противоположных нарративов. Видимо, на первых порах акцентирование несхожих сторон “сибирского мифа” зависело от качественных характеристик русских переселенцев, иными словами, от скорости и успешности преодоления ими адаптивных барьеров (мировоззренческих, эмоционально-психологических, ситуативных). Однако сегодня, когда снижена зависимость экономики региона от климата и в условиях глобального экологического кризиса его природную среду СМИ все чаще называют оптимальной, становится очевидным, что отрицательный образ Сибири генерируется за ее пределами. Следует назвать два фактора, под воздействием которых в сознании “европейца” – и россиянина, и иностранца – Зауралье остается областью, “удаленной от культуры и модернизации” [Between... 1993, p. 2]:

1) использование Сибири в качестве места ссылки и каторги. Хотя доказано, что на протяжении XVIII–XX вв. поток вынужденных переселенцев различался и не он определял структуру населения [Зиновьев, 2009, с. 208–209], суждения о криминогенном неблагополучии по сей день преобладают в характеристиках края. В частности, фразы “Как вы там живете? У вас же одни зоны!” – нередко приходится слышать от коллег

³ Наблюдения были сделаны в ходе реализации проекта межрегиональных институтов общественных наук “Национальная идентичность России в свете модернизации и перехода на инновационный тип развития: региональные измерения” (2010–2011 гг.).

из других регионов нам, жителям Томска – города со старыми университетскими традициями. Причины устойчивости стереотипа лежат в равной мере в литературной и социальной реалиях. Взгляд на Сибирь как на “окраину мира”, где живут уголовные преступники и политически нелояльные граждане, сформировали центральная печать и беллетристика второй половины XIX в. [Родигина, 2006; Хламова, 2008], а советская репрессивная политика быстро и успешно ввела его в сферу массовых обыденных представлений;

2) использование Сибири в качестве сырьевого придатка. Возрождение в постперестроечный период этой составляющей негативного образа обусловило раздел государственной собственности, во-первых, без оценки ее реальной стоимости; во-вторых, проведенный замкнутой партийно-номенклатурной корпорацией. Такой способ приватизации не мог создать собственника, заинтересованного в планомерном, поступательном развитии добывающих отраслей Сибири. К 2005 г., по оценкам экспертов, действия нефтегазовых магнатов имели все признаки “хищнической эксплуатации недр”: разрабатывались исключительно высокодебитные скважины, износ основных фондов не компенсировался, вдвое сократились объемы геологоразведки [Андреев, 2007, с. 29].

Вместе с тем генерирование извне негативных оценок Сибири открывает нечто большее, чем противоречие между официальной презентацией территории как стратегически важной и реальным отношением к ней как к культурной периферии. Деструктивный и, в сущности, *навязанный* негативный образ для жителей края уже на протяжении полутора столетий оказывается строительным материалом для конструирования самого разного рода представлений об их ментальной “особости”, в том числе для позитивных самооценок. Например, сегодня установлено, что даже публицистически заостренные высказывания сибирских областников во второй половине XIX – начале XX в. о положении дел в регионе не преследовали цели отделения от России, а являлись размышлениями на тему прогресса и латентных способностях Сибири выступать лидером движения вперед [Шевцов, 2011].

Следует сказать, что представления об исключительности Сибири возникли гораздо раньше и имеют не просветительно-рационалистическую, а *религиозную основу*. Узловая роль в их формировании принадлежит христианской символике Востока. Об ее структурообразующих для картины мира европейца свойствах в равной мере свидетельствуют и поиски русским крестьянином исконно православного царства – Беловодья, и восприятие Сибири как Нового света, характерное для первых иностранных исследователей Зауралья – пиетистов по убеждению [Чистов, 2003; Мессершмидт, 2012]. Оба варианта мифологемы “Рая на Востоке” строятся на сложной дихотомии территорий – “старой”, исчерпавшей ресурс, и “молодой”, принимающей на себя функцию сохранения базовых ценностей европейской цивилизации.

Будет преувеличением считать это особенностью сибирской ментальной истории. Аналогичные самопрезентации своего региона как нового/сакрального центра мира широко известны [Петрунин, 2006; Абашев, 2008] и по уже сложившейся традиции рассматриваются как культурный архетип, названный М. Элиаде “архаической онтологией” [Элиаде, 1987, с. 38–42]. Важно другое. Хрупкое равновесие прежнего и вновь созданного центров и, значит, всегда присутствующая опасность вернуться к исходному типу отношений “империя и периферия/колония” формируют потребность недавно обосновавшегося сообщества определить собственное место в глобальном социуме. Эти процессы в среде русского населения Сибири начинаются с середины XIX в. – времени, когда на основе комплексной экономики был восстановлен традиционный для русского крестьянства рацион, а церковное строительство уже позволяло считать территорию православной [Шелегина, 2005; Родигина, 2005]. Закономерным итогом стало “русское сибирячество”, присутствие в котором негативных и позитивных характеристик края делает необходимым анализ идеологических и социальных аспектов этого явления.

“Русский сибиряк” как идеологический конструкт

Русское население Сибири никогда не было единым по составу. Освоение региона начали выходцы с Европейского Севера и Северного Приуралья, а в XIX в. продолжили жители южнорусских и центральных губерний. Пестрота этих потоков увеличивалась за счет староверов, сектантов и казаков, остававшихся группами, своеобразными даже в антропологическом отношении [Русские... 2005, с. 114].

Разнородность переселенцев, с одной стороны, вела к явным отличиям в бытовых укладах, лишь частично нивелированным в советскую эпоху, с другой – к возникновению и культивированию чувства причастности к русскому в самом широком понимании. Для сравнения обратим внимание на начавшееся со второй половины XIX в. ослабление этнической идентичности жителей европейской части страны вследствие активных миграций и контактов с другими народами [Власова, 2010, с. 37]. Напрашивается предположение, что ведущую роль в процессах консолидации переселенцев сыграло осознание себя в качестве *принципиально новой* – русско-сибирской общности.

О том, что она не была фантомом и имела узнаваемые черты, свидетельствуют впечатления внешних наблюдателей. Первыми ее психологические и культурные особенности отразили декабристы, объяснив их отсутствием помещичьего землевладения и крепостного права. “Я воображал себе Сибирь холодной, мрачной, страшную, заселенную простодушным и бедным народом, – писал в воспоминаниях В. Раевский, – и вдруг увидел огромные слободы, где не было ни одной соломенной крыши, и народ разгульный и бойкий. Обхождение со мной вольное, но не обидное” [Раевский, 1961, с. 171]. Несколько десятилетиями позднее экономист А. Кауфман отметил, что амурский крестьянин на “настоящего американца” похож больше, чем на “русского мужика”: он покупает импортный инвентарь и “необыкновенно восприимчив” к новизне [Кауфман, 1905, с. 46–48]. На рубеже XIX–XX вв. столь очевидная региональная специфика дала основания для тезиса о “сибирско-русской народности” как самостоятельном этнографическом типе [Потанин, 2005], а в начале XXI в. – материал для размышлений о современном “сибирском характере” [Сверкунова, 2002; Лапшин; Боронов]. Противоречивость полученных выводов относительно “сохранности” этого характера закономерна и, на наш взгляд, предопределена механическим переносом из психологии в сферу социальных наук понятия “идентичность”.

Для преодоления избыточной универсальности термина⁴ необходимо учитывать, например, что региональная идентичность – вторичное образование. Она возникает в обществе, уже разделенном по этноконфессиональным и социально-корпоративным критериям, и ее формирование проходит на основе ранее сложившихся типов самоотождествления. В методологическом плане это предполагает подход к региональной идентичности как явлению *двойственной природы*, в составе которой различаются базовые элементы – относительно “неизменяемые” ценности, нормы и представления, заданные принадлежностью к некоей социокультурной традиции и “отвечающие” за однозначное восприятие происходящего, и элементы “ситуативные”, возникающие под воздействием извне. Отсюда понятны: во-первых, механизм ее складывания – образ территории должен быть включен прежде всего в этноконфессиональную картину мира; во-вторых, роль внутренней согласованности ситуативного и базового в развитии адаптивных качеств живущих на ней людей.

В момент социальных подвижек достижение баланса между ситуативным и базовым неизбежно предполагает выбор. Если принять во внимание исходный дуализм культурных систем, то вслед за А. Ахиезером есть смысл говорить о медиации и инверсии как вариантах его реализации [Ахиезер, 2008, с. 34]. Иными словами – о смысловом

⁴ Как отмечает В. Малахов, «начиная с 1980-х гг. поток сочинений, выносящих в заголовок слово “идентичность”, становится практически необозримым; “идентичность” становится составной частью своего рода жаргона, бессознательно употребленного которого превращается в норму и научной, и политической журналистики» [Малахов].

ресурсе оппозиций старое/новое и сакральное/профанное, динамическое сопряжение которых позволяло русскому переселенцу без утраты культурной специфики создавать нужные ему для закрепления на новом месте социальные и территориальные сети.

Для понимания указанных процессов следует учитывать два обстоятельства. С точки зрения формальной логики они исключают друг друга, но в исторической реальности – скорее, дополняют. Первое: интенсивность и насильственность российских модернизаций заставляла основную массу населения полагать, что лишь вне официального государства воплощается “правильное” (народное) понимание справедливости, воли и веры. Второе: будучи доминирующим большинством, русский этнос считает это же самое государство “своим” [Шнирельман, 2008, с. 8] и воспринимает собственные культурно-языковые свойства как гарантию политической стабильности. Таким образом, широкомасштабная миграция славянских народов в Сибирь – край, населенный не знавшими государственности “дикарями”, не просто предполагала перенос “русских” управленческих структур. Она объективно провоцировала стремление считать переселение мерой по восстановлению деформированного властями миропорядка.

Именно в этом ключе объяснимо постепенное накопление “позитивной” атрибутики региона в процессе колонизации, которое теперь прямо связывалось с приходом русского человека, прежде всего крестьянина: “А вот почему в Сибири-то так холодно и дождей мало, и лето коротко, – так кто тут раньше жил? – одни чалдоны желторотые да ссыльные... За что же Бог и будет давать-то?.. А вот как Россия наедет, так все переменится...” [Беляков, 1899, с. 12]. Полученный в ходе адаптации агрономический опыт и режим экономической свободы давал крестьянину-колонисту, мотивированному на закрепление в Сибири, уверенность в том, что только здесь возможно достижение социального успеха и иного, чем на родине, качества жизни.

Оборотной стороной стало пренебрежительное отношение мигрантов к культурной метрополии, отмеченное публицистикой рубежа XIX–XX вв. Высказывания “в глупой России ничего умного не может быть” и “доведут, как в России: ни хлеба, ни денег не станет” [Гарин-Михайловский, 1958, с. 22], безусловно, показательны. В трактовках прежних лет они считались даже явным признаком разрыва. Так, народоволец С. Елпатьевский дал такой портрет русского, давно осевшего в Сибири: «Среди разноплеменных, разноверных людей... он не знает, не чувствует разделительных граней – религиозных, национальных; он безгранный, внациональный, он сибиряк, он только областник. Он не по-русски – реже и менее усердно молится, не по-русски ругается и о пришедших из-за Урала говорит “он российский”», вкладывая в наименование скорее уничижительный, чем констатирующий смысл [Елпатьевский, 1929, с. 202–203].

“Внациональность” сибиряка – особый предмет для разговора. Сибирь не знала резкого противостояния пришлых и аборигенных этносов [Шерстова, 2003], поэтому вопреки всем усилиям правительства по защите “православия, русской народности и гражданственности” шел процесс так называемого “объинородчивания” [Вахтин, Головкин, Швайтцер, 2004; Сандерланд, 2005]. Вместе с тем известны примеры иного рода. Так, староверы даже в условиях численного превосходства местных народов сохраняли свою “русскость” [Дугчак, 2011].

Здесь же отметим другое. За своеобразным культивированием неприязни явственно виден *географический эгоцентризм* – понимание места своего проживания как центра мироздания. Считается, что эта система ориентирования в пространстве была вытеснена в Новое время картографией, абстрагирующей от локальных точек и подчиняющей презентацию отдельных территорий единому принципу [Петрухин, 1995, с. 64–65]. Однако особенности генезиса и функционирования региональной идентичности позволяют утверждать, что именно этот эгоцентризм, органично вписывающийся в структуры повседневного сознания и опыта, – ключевой в процессах хозяйственного и ментального освоения новой территории.

Видимо, этим же можно объяснить, во-первых, сходство идентификации в других русскоязычных регионах-фронтирах и возникающие в результате наименования – “русские европейцы” (Калининград) и “русские липоване” (Украина) [Андрейчук. Гаврилина, 2008; Пригарин, 2010, с. 393]; во-вторых, символическую, хотя и парадоксальную с позиции здравого смысла, ситуацию – пришлое население начинает считать себя единственным хранителем этноконфессиональных традиций, якобы уже утраченных метрополий. На материалах Сибири в конце XIX в. она была описана Н. Ядринцевым: “Сибиряк считает себя русским, а на русского поселенца смотрит как на совершенно чужого ему человека и сомневается в его русской национальности” [Ядринцев, 1875, с. 77].

Результатом подобной интеллектуальной процедуры стало не только обретение сибирским социумом отрефлексированных представлений о собственных отличиях. Не менее важно формирование идентификационной модели с высокой степенью устойчивости. С одной стороны, убежденность в самодостаточности помогала выжить в экстремальных обстоятельствах XX в. С другой стороны, культивирование культурной связи с Россией объективно увеличивало глубину “коллективной памяти” недавно возникшего регионального сообщества и делало его выживание осмысленным. Вплоть до недавнего времени это позволяло Сибири оставаться территорией стабильной, с сильными центристскими тенденциями.

“Русский сибиряк” сегодня: структурная и содержательная характеристики

Насколько сильны сегодня центристские тенденции и какие социальные слои являются в настоящее время их “носителями”? Социологические и социально-психологические исследования 2010–2011 гг. дают материал для ответа на эти вопросы.

Методологической основой размышлений о современном “русском сибирячестве” выступила трактовка социальной идентичности Г. Тэджфела и Д. Тернера [Tajfel, Turner, 1986], предлагающая учитывать два ее структурных компонента: 1) когнитивный, выраженный через знание индивида о своей принадлежности к социальной группе или сообществу, и 2) эмоционально-оценочный, рассматриваемый через эмотивное отношение к группе и факту собственного членства в ней. Именно эти составляющие самоидентификации были исследованы в ходе опроса 900 жителей 8 субъектов Российской Федерации, географически и исторически включенных в сибирский регион с помощью методик М. Куна (тест “Кто Я?”), Ч. Осгуда (семантический дифференциал) и В. Ядова и Е. Даниловой (методика измерения групповых идентификаций) [Данилова, Ядов, 1993, с. 128–129]⁵.

Полученные результаты свидетельствуют, что жители сибирского региона, в том числе те, кто определили свою национальность как русскую, фиксируют свою идентичность главным образом внутри малого коммуникативного круга – через семейные и групповые роли. Эмоциональное восприятие семьи абсолютным большинством респондентов обусловлено представлениями о ней как об устойчивом феномене жизни. Не случайно больше половины “русских сибиряков” (55%), отвечая на вопрос “Кто Я?”, обозначают прежде всего свою семейную роль.

Второй по значению параметр самоидентификации современных “русских сибиряков” – включенность в дружеские и товарищеские отношения, принадлежность к сообществам и группам “общностного” (по Ф. Теннису [Теннис, 2002]) типа. В то же время гражданская или региональная принадлежности проявлены с меньшей степенью интенсивности. В частности, среди опрошенных респондентов доля использовавших формулировки-маркеры “гражданин России”, “россиянин”, “сибиряк” составляет всего 22%.

⁵ Исследование проводилось в рамках Федеральной целевой программы “Региональная идентичность как фактор и условие сохранения и поддержания социальной стабильности в сибирском социуме: исторический и современный аспекты” (ГК № 02.740.11 5206).

Это обстоятельство требует обращения к семантическому пространству понятий “Россия” и “Сибирь”. В подавляющем большинстве оба они воспринимаются как нечто родное, близкое, хорошее. Однако различия проявляются в том, что у значительной части респондентов эмоциональное содержание понятия “Россия” выражено через слабость, хрупкость и медленность. В то время как понятие “Сибирь” имеет более выраженную силовую и активную компоненту эмотивного отношения (см. табл. 1).

Таблица 1

Характер эмотивного отношения к понятиям “Россия” и “Сибирь”
(среднее значение по шкале от “-3” до “+3”)*

	Россия	Сибирь	
Родное	-2,21	-2,16	Чужое
Активное	-1,21	-1,28	Пассивное
Сложное	-0,98	-0,2	Простое
Слабое	1,24	1,54	Сильное
Воинственное	1,1	1,62	Миролюбивое
Прочное	-0,9	-1,31	Хрупкое
Плохое	1,51	1,98	Хорошее
Прекрасное	-1,58	-1,77	Неприятное
Медленное	0,04	0,42	Быстрое
Несовременное	0,73	0,84	Современное
Далекое	1,62	1,86	Близкое
Формальное	-0,11	0,03	Неформальное

* Полученные данные анализировались путем вычисления средних значений по семибальной шкале, где “-3” и “+3” являлись крайними значениями, отражавшими максимальную модальность вербальных антонимов. В представленной таблице сверху списка находятся прилагательные, получившие максимально выраженные оценки относительно предложенных полюсов значений шкалы и, соответственно, демонстрирующие базовые основания эмотивного отношения.

Таблица 2

Результаты ответа на вопрос: «Как часто вы ощущаете близость с разными группами людей, с теми, о ком вы могли бы сказать “Это – мы?”» (в %)

	часто		иногда		никогда не чувствую близости	
	Русские	Другие националь-ности	Русские	Другие националь-ности	Русские	Другие националь-ности
Россияне	60	48	34	30	6	22
Сибиряки	64	59	31	30	5	11
Жители моей области/ края/республики	46	54	41	35	11	11
Жители моего населенного пункта	59	65	31	28	8	6
Люди той же веры	21	22	37	35	40	43
Люди той же профессии	47	43	40	37	12	19
Люди той же национальности	41	41	41	44	15	15
Соседи	32	24	43	48	23	28
Друзья	83	83	14	15	3	2
Семья	92	89	6	7	2	4

Примечание: $p \leq 0,05$.

Установленные коннотативные значения понятия “Сибирь” (близкая, сильная, позитивная, родная) создают в перспективе потенциал для актуализации именно региональной составляющей идентичности жителей региона. Этот вывод подтверждается данными анализа групповых компонент идентичности сибиряков (см. табл. 2).

Данные наглядно демонстрируют, с одной стороны, значимость принадлежности к “россиянам” и “сибирякам” (60 и 64% опрошенных, соответственно); с другой – доминирование в общей структуре идентичности региональной компоненты над государственной и поселенческой. Важная социокультурная характеристика групповой идентификации – отсутствие у более чем трети русских, проживающих в Сибири, четкого желания считать себя “россиянами” и/или “сибиряками” (а 5–6% никогда не чувствуют близость к этим общностям). Это говорит о том, что в российском обществе на уровне субъективных представлений проявляются феномены *децентрализации страны и разрушения единой формы гражданской идентичности*, включающей в себя этническую компоненту. В частности, сохранение у большей части “русских сибиряков” солидарности с гражданами страны в целом базируется теперь не столько на этническом самосознании, сколько на представлениях об общности исторической судьбы и культурного единства.

Выявленные тенденции подтверждает анализ мотивов проживания на территории сибирского региона, среди которых доминируют ценностно-рациональные и традиционные. Прежде всего важными оказываются семейные и товарищеские отношения, сложившиеся в локальном пространстве, и привыкание к месту жительства, чувство “малой родины”. В то же время целерациональные мотивы – хорошая работа, развитая инфраструктура и т.д. – менее распространенные основания проживания.

Видимо, это свидетельствует о том, что костяком региональной идентичности жителей Сибири остается чувство территориальной связанности – “своими” становятся давно и постоянно живущие рядом. Корреляционный и регрессионный анализ данных позволил установить, что такие настроения наиболее характерны для людей зрелого и пожилого возраста, причем живущих в сельской местности, имеющих начальное или среднее образование, получающих доход немного выше прожиточного минимума, – то есть для тех, кто согласно стратификационной модели Т. Заславской [Заславская, 1997, с. 5–22], занимают нишу между средним классом и маргинализированными группами.

Полученные результаты могут иметь, как минимум, три объяснения. Сказывается, во-первых, влияние объективированных социальных условий. Чем старше человек, тем он более укоренен на той территории, где живет, и склонен считать других ее жителей “своими”. Во-вторых, это опыт жизни старшего поколения в другой социокультурной среде – Советском Союзе. Одной из ее общественно-политических особенностей было постоянное конструирование властью единой “советской” идентичности граждан, предполагающей осознание индивидами самих себя частью коллективного целого. Поэтому те, кто прошли этап первичной социализации в рамках советской системы (низшая поколенческая граница на настоящий момент – это 35–40-летние), привыкли идентифицировать себя в контексте “больших” социальных групп. Наконец, в-третьих, важную роль играет радиус референции молодежи. Современные молодые люди, особенно поколение 1990-х гг., уже погружены в глобализированную информационную и жизненно-стилевую среду. Возможности выбора референтных групп и сообществ для них резко возросли, и благодаря Интернету и другим формам массовой коммуникации они могут включаться в жизнь практически любой социальной группы или сообщества. Это отмеченное З. Бауманом разрушение власти физического пространства над человеком [Бауман, 2004] приводит к разрушению актуальности традиционных социальных групп – национальных, территориальных и т.д. – как оснований самоидентификации членов общества. Суммарным результатом данных процессов оказывается начавшееся вытеснение “русского сибирячества” на периферию региональной жизни.

Известно, что сообщества, складывающиеся в процессе миграций, имеют особые черты. “Идентифицируя себя с мегаэтнической общностью, конкретизировавшись в сознании до определенного культурного поля, откуда вышел каждый мигрант, он, с той или иной долей уверенности, начинает ассоциировать себя и с неким региональным сообществом” [Савельева, 2005, с. 198]. Феномен “русского сибирячества” полностью отвечает этой закономерности. Восприятие внутренней связи с метрополией как символически наполненной делало адаптацию русских переселенцев рациональной, а региональный социум, где они оставались доминирующим большинством, в целом ориентированным на стабилизацию связей с “внешним миром”. Это позволяло Сибири на протяжении столетий считать себя полноправной частью большой страны и одновременно оставаться узнаваемой в поликультурном пространстве России.

Бинарная природа “русского сибирячества” определяет пути его проявления. На синхронном срезе, в повседневности оно выступает как в полном смысле территориальная идентичность, сконцентрированная на позитивно окрашенном образе “малой родины” и сформированная инструментарием христианской культуры. Однако в моменты обострения отношений с Центром начинает преобладать диахронная, культурно-историческая компонента, которая переводит рефлексии по поводу собственной этноконфессиональной принадлежности в русло “государственно-гражданской”⁶ и актуализирует вопрос – может ли теперь житель Сибири чувствовать себя россиянином и нужно ли ему это?

В прошлом маятниковый режим идентификации был обусловлен отношением к Сибири как к ресурсной периферии; в настоящем – отсутствием социально ответственной экономической региональной политики. В этих условиях ориентация сибирского населения на эмоционально близкий малый коммуникативный круг не может считаться адекватным выходом из ситуации. Выбор в качестве идентификационной стратегии микроуровневых поведенческих практик пока позволяет адаптироваться к текущим переменам, но не создает потребности во включении в иницилируемые властью модернизационные проекты.

Социальные трансформации последних десятилетий не только увеличили частоту колебания “маятника” и обнаружили очевидный крен в сторону локальных ценностей и интересов. Наиболее тревожной тенденцией на фоне общей нечеткости представлений россиян о гражданской идентичности и сугубо региональных проблем⁷ является непривлекательность “русского сибирячества” для молодежи.

Эта идентификационная модель стремительно утрачивает исторически присущую ей стабилизирующую функцию. Видимо, для того, чтобы она вновь стала востребованной, наряду с экономическими и социальными программами развития региона должен возникнуть отвечающий современным реалиям вариант “сибирского мифа”, который объяснял бы, почему Сибирь должна оставаться в составе России, и помогал связывать индивидуальные жизненные перспективы с регионом. В противном случае открывающиеся сегодня широкие возможности для сепаратистского мифотворчества со стороны различных общественно-политических сил, с одной стороны, и привлекательность региона лишь для трудовых мигрантов – с другой, создают все условия для превращения Сибири из “проекта будущего” в “территорию риска”.

⁶ По мнению Л. Дробижской, в условиях политико-социальной нестабильности в районах с доминирующим русским населением “российская государственно-гражданская идентичность становится приоритетной в сравнении с этнической” (см. [Дробижская, 2010, с. 50]).

⁷ Важнейшая из них – демографическая. Для региона с площадью 10 млн км² потеря в результате миграций и естественной убыли населения в период с 2002 по 2010 г. более 1,5 млн человек – ошутима.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абашев В.* Пермь как текст. Пермь в истории русской культуры и литературы XX в. Пермь, 2008.
- Андреев В.П.* Старо-новая элита в трансформационных процессах в России в конце XX–начале XXI в. // *Сибирское общество в период социальных трансформаций XX в.* Томск, 2007.
- Андрейчук Н.В., Гаврилина Л.М.* Основания самоидентификации в пространстве калининградской региональной субкультуры // *Геополитика и русские диаспоры в балтийском регионе.* Калининград, 2008.
- Ахиезер А.С.* Социокультурный механизм переходных процессов // *Цивилизации.* Вып. 8. Социокультурные процессы в переходные и кризисные эпохи. М., 2008.
- Бауман З.* Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004.
- Беляков И.Е.* Переселенец о Сибири // *Русское богатство.* 1899. № 3.
- Бороноев А.О.* “Сибирство” как форма территориальной идентичности (<http://sibident.narod.ru/arc.html>).
- Вахтин Н.Б., Головкин Е.В., Швайцлер П.* Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания. М., 2004.
- Власова И.В.* Судьбы русской народной культуры // *Вестник Российского гуманитарного научного фонда.* 2010. № 3(60).
- Гарин-Михайловский Н.Г.* Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1958.
- Данилова Е.Н., Ядов В.А.* Контуры социально-групповых идентификаций личности в современном российском обществе // *Социальная идентификация личности.* М., 1993.
- Дорофеев М.В.* Крестьянское землепользование в Западной Сибири во второй половине XIX века. Томск, 2009.
- Дробизева Л.М.* Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэтнической среде // *Социс.* 2010. № 12.
- Дутчак Е.Е.* Формирование этноконфессиональной идентичности в периоды социальных трансформаций, или Зачем крестьянину-колонисту христианская книга // *Проблемы истории России.* Вып. 9: Россия и Запад в переходную эпоху от средневековья к новому времени. Екатеринбург, 2011.
- Елпатьевский С.Я.* Воспоминания за 50 лет. Л., 1929.
- Жеравина А.Н.* Кабинетское хозяйство в Сибири (1747–1861 гг.). Томск, 2005.
- Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: предмет изучения и основные направления развития // *Общественные науки и современность.* 2010. № 4.
- Заславская Т.И.* Социальная структура современного российского общества // *Общественные науки и современность.* 1997. № 2.
- Зиновьев В.П.* Очерки социальной истории индустриальной Сибири. XIX–начало XX в. Томск, 2009.
- История Сибири с древнейших времен до наших дней.* В 5 т. Т. 2. Сибирь в составе феодальной России. Л., 1968.
- Кауфман А.А.* По новым местам (очерки и путевые заметки). 1901–1903. СПб., 1905.
- Лапшин А.Н.* Эволюция сибирской идентичности (http://w2.pcu.ac.kr/korsib21/nonmun/04_7/04_7_3_pdf).
- Малахов В.С.* Неудобства с идентичностью (<http://www.intellectuals.ru/malakhov/izbran8ident.html>).
- Мамсик Т.С.* Побег как социальное явление. Приписная деревня Западной Сибири в 40–90-е гг. XVIII в. Новосибирск, 1987.
- Мессершмидт Д.Г.* Дневники. Томск–Абакан–Красноярск. 1721–1722 гг. Абакан, 2012.
- Петрунин Ю.Ю.* Призрак Царьграда: неразрешимые задачи в русской и европейской культуре. М., 2006.
- Петрухин В.Я.* Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. Смоленск–М., 1995.
- Полное собрание законов Российской империи.* В 45 т. Т. 25. СПб., 1830.
- Потанин Г.Н.* Русская народность в Сибири // *Потанин Г.Н.* Избранные сочинения. В 3 т. Т. 2. Павлодар, 2005.
- Пригарин А.А.* Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII–первой половине XIX в. Одесса–Измаил–Москва, 2010.
- Раевский В.Ф.* Сочинения. Ульяновск, 1961.
- Родигина Н.Н.* “Другая Россия”: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX–начале XX в. Новосибирск, 2006.

Родигина Н.Н. “Земля обетованная” или “каторжный рай”: Сибирь в восприятии крестьян Европейской России второй половины XIX в. // *Моя Сибирь. Вопросы региональной истории и исторического образования.* Новосибирск, 2005.

Русские. М., 2005.

Савельева Л. Истоки сибирского регионального сознания, или О конструировании воображаемой реальности // *Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность.* М.–Иркутск, 2005.

Сандерланд В. Русские превращаются в якутов? “Обычнородчивание” и проблемы русской национальной идентичности на севере Сибири, 1890–1914 гг. // *Российская империя в зарубежной историографии.* М., 2005.

Сверкунова Н.В. Региональная сибирская идентичность: опыт социологического исследования. Иркутск, 2002.

Сибирское общество в условиях трансформаций конца XIX–начала XX в.: идентичность и стратегии поведения. Омск, 2009.

Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.

“Славянский мир” Сибири: новые подходы в изучении процессов освоения Северной Азии. Томск, 2009.

Теннис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии. СПб., 2002.

Уманец Ф.М. Колонизация свободных земель России. СПб., 1884.

Хламова А.М. Мотивы обращения к теме уголовной ссылки в Сибирь русских писателей второй половины XIX в. // *Пишем времена и случаи.* Новосибирск, 2008.

Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003.

Чуркин М.К. Переселения крестьян Черноземного центра Европейской России в Западную Сибирь во второй половине XIX–начале XX вв.: детерминирующие факторы миграционной мобильности и адаптации. Омск, 2006.

Шевцов В.В. Образ Сибири на страницах официальной и частной дореволюционной печати // *Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры.* 2011. № 3 (92).

Шелегина О.Н. Адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVIII–начале XX в. Новосибирск, 2005.

Шерстова Л.И. Русские и аборигены Сибири в XVII–начале XX вв.: этногенетические истоки толерантности // *Межэтнический и межконфессиональный диалог в российском обществе: проблемы толерантности.* Томск, 2003.

Шиловский М.В. Фронтир и переселения (сибирский опыт) // *Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв.* Вып. 3. Новосибирск, 2003.

Шнирельман В.А. Идентичность, культура и история: провинциальный ракурс // *История края как поле конструирования региональной идентичности.* Волгоград, 2008.

Эксперт-Сибирь. Региональный деловой журнал. 2011. № 50.

Элиаде М. Космос и история. М., 1987.

Ядринцев Н.М. Русская народность на Востоке // *Дело.* 1875. № 4.

Between Heaven and Hell. The Myth of Siberia in Russian Culture. New York, 1993.

Tajfel H., Turner J. *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Psychology of Intergroup Relations.* Chicago, 1986.

© Е. Дутчак, В. Кашпур, 2013